

Владимир Жаботинский

*ДЕСЯТЬ КНИГ**

Разговор

Мы собрались как-то на даче небольшой компанией на прогулку и там, полулежа на траве и грызя бутерброды, повели разговоры о разных легких предметах. Между прочим один из нас, адвокат, задал вопрос:

– Если бы нам было объявлено, что решено сжечь дотла все решительно книги и будет оставлено миру всего только десять книг, по нашему выбору, – какие десять книг выбрали бы мы?

И стали мы думать и гадать, какие имена следовало бы внести в список этих десяти.

– Прежде всего, я думаю, Ветхий и Новый завет, – сказала вопросительно одна дама.

Адвокат кивнул головою и тоже вопросительно оглядел всех: не возразит ли кто против этого выбора? Но все тоже утвердительно кивнули головами, и адвокат загнул один палец и заявил:

– Первая.

– Потом предлагаю Гомера, – сказал один из собеседников.

Послышались неопределенные протесты: слушающие как будто и соглашались, но приличия ради, а в глубине души как будто и не понимали необходимости. Был между нами студент-медик, которому после реального училища пришлось вызубрить всю классическую премудрость, и он за то ненавидел ее смертельно. Он казался откровеннее других и вознегодовал:

– Не желаю Гомера. Да и не думаю, чтобы вы его искренно желали. Я считаю вообще это почтительное преклонение перед старыми книгами, которых уже никто теперь не в состоянии с интересом прочесть, одним из проявлений того, что за границей называют *snobbisme*. Охотно признаю, что «Илиада» и «Одиссея» произведения замечательные, что они дают богатый материал для истории времен царя Гороха и для истории литературы. Но волновать они нас уже не могут. Мы читаем их совершенно равнодушно, а то даже и зевая. Никаких поучений для себя мы из них не выносим. Когда я слышу, как интеллигентный человек вслух восторгается красотами Гомера, я не верю в его чистосердечие. По-моему, в числе десяти Гомеру никак не место. Надо выбрать только такие вещи, которые способны вечно задевать живые струны человеческого духа.

* Статья, опубликованная впервые в ежедневной петербургской газете «Русь» (6, 15 и 30 августа и 27 сентября 1904 года), планируется к публикации в первой книге четвертого тома «Полного собрания сочинений» Владимира (Зеэва) Жаботинского, который выйдет в свет осенью 2012 года. Редакция благодарит за предоставленные материалы инициатора, составителя и главного редактора издания Феликса Дектора.

– Это правда, – слышались голоса.

Адвокат, выжидавший с протянутым безымянным пальцем, сказал:

– Слово принадлежит предложившему Гомера для защиты оно, причем я просил бы его принять, если угодно, к руководству следующее замечание. Каждый из нас, конечно, вправе мотивировать свой выбор одним личным вкусом, но было бы желательнее приводить и объективные доводы. Мы здесь хотим спасти от сожжения десять книг в интересах всего человечества; значит, надо в каждом отдельном случае доказать, что данная книга в том или ином отношении представляет собою вечную ценность для человеческого духа.

– Совершенно верно, – ответил тот из нас, который предложил Гомера, – я исхожу из той же точки зрения. Поэтому я разделяю свою защиту на две части: во-первых, выскажу вам мое субъективное впечатление от Гомера, во-вторых, мое объективное мнение о его ценности для всего человечества и во все времена. Позвольте?

– Говорите, говорите.

– Я человек искренний и не заражен снобизмом, а Гомера все-таки душевно люблю и читаю всегда с непосредственным наслаждением. «Идей», в русском смысле этого слова, я в нем, конечно, не нахожу, а фабула, сама по себе, меня тоже не особенно восхищает; люблю я Гомера за его типы. Люди у него великолепные, монументальные. Когда им смешно, они хохочут так, что своды мира трясутся; когда им больно или грустно, они ложатся на землю и кричат так, что за версту слышно. Читая о том, как эти люди даже ели и пили, я вижу ясно, что ни у одного из них не было ни гнилых зубов, ни катара в желудке, и мне это приятно, как приятно и в жизни встретиться с человеком, у которого приятный цвет лица. Читая Гомера, я всегда вспоминаю о том, что нынешний человек очень редко умеет красиво делать две вещи: есть и смеяться. Мы жуем неловко и не изящно, потому что половина коренных зубов уже не имеет себе пары для растирания пищи, и со стороны, человеку не ядущему, часто противно смотреть. А смеемся мы еще хуже: давясь, захлебываясь, икая, со спазмами в горле. Почти никогда не слышно хорошего, настоящего, ровного смеха колокольчиком, когда человек закидывает голову и хохочет легко и звонко. Я был когда-то влюблен в одну барышню, которая умела красиво смеяться, и с тех пор меня коробит, когда слышу неприятно заикающийся смех других людей, и мой в том числе. А у Гомера я вижу людей, которые все делали важно, звучно и красиво: и ели так, и хохотали так, и плакали, и сражались, и умирали так. Люди, словом, великолепные и великолепно функционирующие. Вот что мне нравится в Гомере, и отсюда я вывожу его объективную ценность. Я спрашиваю себя: почему меня так восхищают и трогают Гомеровы герои? Тут нельзя отделаться пустою фразой: таков мой вкус. Вкус должен быть обусловлен чем-нибудь глубоким и органическим. И я говорю себе: нет никакого сомнения, что идеальный человек должен быть так же великолепен во всех своих проявлениях, как эти первоначальные образчики человеческой породы. Тысячелетия борьбы за существование чересчур изощрили нас в одних отношениях и ослабили в других; получилась дисгармония, потеря равновесия, получился нынешний уродливый и искалеченный человек.

Но я верю, что мы идем шаг за шагом к осуществлению такого дня, когда борьба за существование будет введена в железные рамки нового общественного строя и тяжесть будет почти незаметна отдельной личности. Это даст личности новый простор. Она сможет опять развиваться гармонично и нормально; возродится до прежнего великолепия во всех своих функциях ее тело, и уравновесится и угмонится наблевший дух. Это не будет копия гомеровского типа: будущий человек будет бесконечно сложнее, многостороннее, богаче, глубже и зорче первобытного, но одно будет в них общее: то великолепие безупречной здоровой природы, которым насквозь светится Гомер. Еще много воды утечет, пока вернется былое стихийное звериное здоровье человека, и до тех пор часто лучшие люди будут с ужасом оглядываться в физическое вырождение и нравственную недужность современных поколений и будут грозить и призывать к сближению с природой, как Руссо, как Лев Толстой. Но у меня есть Гомер, а с ним на что мне Руссо и Толстой? Они только призывают и проповедуют, тогда как он сразу рисует передо мною во всем великолепии то самое, к чему они зовут меня; они оба во многом неправы и несправедливы, тогда как он – сама правда и простота. И они оба, и он творят одно и то же святое дело – не дают человеку забыть, «что он был и что стал»; но Гомер в этом воспитательном отношении во столько же раз действительнее и сильнее, во сколько вообще в воспитании живой пример сильнее самой блестящей нотации. Я поддерживаю кандидатуру Гомера.

– Два, – сказал адвокат и пригнул безымянный палец.

– Виноват, – продолжал защитник Гомера, – я прибавлю еще несколько слов. Нападки на Гомера нашего милого медика ничуть меня не удивили: мне хорошо знакомо это настроение. Знаю, что есть очень много вполне интеллигентных людей, которые в глубине души не понимают, чем, собственно, восторгаться в Шекспире, Данте и Гете. Они признают в этих авторах и талант или даже гений, и глубокий ум, и огромное значение для того времени, когда каждый из них жил и действовал; но непосредственно волновать читателя сегодня, в 1904 году, ни Данте, ни Гете, ни даже Шекспир, по мнению этих людей, уже не могут. И те из них, кто похрабрее, сознаются вам, пожалуй, что им на «Гамлете» скучно. Я слышал такие признания сплошь и рядом от самых интеллигентных людей и долго не мог себе объяснить такое падение вкуса. Но теперь мне кажется, что я понимаю причину.

Обратите внимание, кто у нас читает классиков мировой литературы: молодежь, и только молодежь, начиная от подростков лет пятнадцати (часто раньше) и кончая не позже лет двадцати двух – двадцати трех. И это вполне понятно: когда ум пробуждается, он прежде всего набрасывается на те имена, которые санкцией всего мира признаны за лучшие. Против этого нельзя даже восставать, ибо чем же лучше развить и воспитать вкус, как не чтением классиков? Но с другой стороны, получается нечто весьма невеселое. Ведь классик в день создания своего шедевра был человек зрелый, много повидавший, много пострадавший; создавая свой шедевр, он пользовался опытом более или менее долгой жизни, и понять его как следует, волноваться

над его страницами может только тот, кто тоже много испытал и много страдал. Гений был человек зрелый и писал для зрелых людей; но именно с того момента, когда он стал общепризнанным гением, он переходит в исключительное ведение самой юной молодежи. Она очень симпатична и чутка, но все-таки она еще не была в Саксонии и не может полно понять и пережить настроение человека, уже побывавшего в Саксонии, да еще гениального человека. Потому особенно сильного впечатления он, гений, на эту молодежь не производит, особенно с третьего или четвертого поколения, когда устареют некоторые обороты языка и приемы изложения; а между тем классик уже прочтен, дело сделано, и вряд ли юноша впоследствии, когда сам станет зрелым мужем, успеет или вспомнит перечитать его: жизнь так быстра, так много новинок, что мы вообще не охотники до перечитывания прочитанных книг. Я говорю не об одном Гомере: он находится в особенно невыгодном положении, потому что его официально изучают в гимназиях. Когда вам читают художественное произведение по пятнадцать строчек в день, пережевывая притом эти пятнадцать строк со всеми аористами и желательными наклонениями, то уже вы, конечно, никогда не найдете в этом произведении красоты. Но и те классики, которых Бог упас от этой участи, тоже роковым образом подчинены общему трагическому процессу: с момента признания их гениальности они читаются исключительно молодежью, которая не в силах воспринять и пережить их творения во всей полноте; иными словами – именно с того дня, когда классик попадает в руки воспитывающихся поколений, он перестает быть в истинном смысле воспитателем поколений. Он похоронен, и только немногие люди еще способны понять и прочувствовать его до глубины.

– Что же вы прикажете? – спросил его обидчиво студент. – Иметь родителям наблюдение, дабы сыны и дочери ничего не читали, кроме Жюль Верна?

– Совсем не то, – сказал защитник Гомера. – Я, прежде всего, сам не был послушным сыном, да и не люблю, признаться, типа благонаправленного дитяти, а особенно подростка. Уж по этому по одному не могу я быть сторонником «изъятия» той или другой книги из отроческих рук: сам я в свое детское время никогда не подчинялся этим «изъятиям» и вполне уверен, что мой сын тоже не подчинится, ибо ведь и он не лыком шит. Но кроме того, какой смысл запрещать? Ведь и самый яркий поклонник неограниченной родительской власти тоже не станет запрещать сыну позже восемнадцати-девятнадцатилетнего возраста; а я вам говорю, что Данте писал свою «комедию» в пожилых годах, много пережив и испытав, и двадцатипятилетний юноша, прочитавший «Ад» хотя бы даже в подлиннике, почти столь же мало проникнет в глубь его настроений, как и подросток пятнадцати или шестнадцати лет. Тут ничем не поможешь, и я не для того заговорил об этом, чтобы предложить спасительное мероприятие. Я просто констатировал факт, и больше ничего. Если хотите, в другой раз вместе подумаем, как бы вернуть классикам понимание читающей публики. А сейчас у нас задача другая: назвать третье имя...

– Я назову, – отозвалась молодая дама, – предлагаю «Декамерон».

Поднялись энергичные протесты. Адвокат постучал тростью о пень, на котором сидел, и сказал:

– Слово принадлежит вам для защиты интересов Боккаччо. Мы ждем.

– Прошу внимания, – сказала молодая дама, – но я раньше расскажу вам один посторонний случай. Зимой был в Петербурге бал художников. Я приехала поздно, и меня прежде всего спросили: «А видали вы барышню в носовом платочке?» – «Это что такое?» – «Это? Самый эффектный костюм на вечер». И показали мне эту барышню: довольно хорошо сложенная блондинка в тонком и туго обтянутом белом плаще до колен, а под плащом, очевидно, ничего, и плечи, и руки голые. Было действительно очень эффектно. Барышня в носовом платочке получила первый приз от публики и вообще имела успех. Когда вечер кончился, и она со своими кавалерами уходила, остатки публики стояли по дороге и провожали ее комплиментами. Я сидела немного поодаль, а возле меня были две чужие барышни, кажется, дурнушки и уже не молоденькие. Они смотрели на ухודившую блондинку очень несочувственно, и я расслышала, как одна сказала другой со злостью в голосе: «В первый раз в жизни вижу!» И мне тут невольно захотелось рассмеяться – так комично показалось мне то положение, в которое блондинка поставила этих двух барышень. Не в том дело, что она их затмила, а в том, что она так легко и грациозно вышибла их из их идейной позиции. Вы вникните: они «в первый раз в жизни» увидели такое неприличие. Они до сих пор думали, что являться на людях в носовом платке нельзя. Вы могли бы целый час спорить с ними, приводя тысячи доводов, а они все-таки остались бы при твердом убеждении, что нельзя. И вдруг им наглядно показали, что можно. Вот захотела, и можно. И тогда я поняла это смешное растерянное положение, в котором оказались мои барышни по милости смелой блондинки. Мне пришло в голову, что ведь и кроме них должно было быть немало на этом балу таких людей, которые до сих пор были уверены, будто нельзя. И вдруг им всем тут показали, что можно. Двух барышень это открытие разозлило, но ведь были, несомненно, и такие, которых это открытие привело в восторг. Например, меня. Не потому, чтобы я тоже собиралась надеть к балу носовой платок *ohne weiteres*¹: я к этому не привыкла, мне было бы неловко, и я этого не сделаю. Но я обрадовалась открытию потому, что до сих пор по привычке считала лицемерие и *pruderie*² факторами очень сильными, пойти против которых невозможно, и вдруг увидела, что это неверно, что через лицемерие и *pruderie* можно преспокойно перешагнуть и никакого грома и молнии от этого не будет. Как не обрадоваться, когда враг, которого считаешь сильным, оказывается неспособным постоять за себя? А для того чтобы обнаружить это его бессилие, недостаточно спорить и доказывать словами: гораздо легче и скорее доказать это наяву неопровержимым фактом. Повторю слова моего предшественника о Гомере: живой пример действительнее всякой нотации.

¹ *Ohne weiteres* (нем.) – прямо, просто, без затруднений

² *Pruderie* (франц.) – показная добродетель, преувеличенная стыдливость.

– А «Декамерон»? – вежливо напомнил адвокат.

– Да я и говорю о «Декамероне», – сказала дама.

– В средние века над христианским миром тяготел клерикальный гнет. Он убивал всякое свободное развитие жизни. Для того чтобы оправдать и освятить свой образ действий, он создал теорию греховности жизни. Он проповедовал, что всякое проявление жизни само по себе преступно и благочестивый человек должен с ним бороться. И чем ярче было данное проявление жизни, тем больше ненавидели его мракобесы. Больше всего пугало и возмущало их именно то, что могло дать человеку наибольшую *joie de vivre*: смех, веселье, пляска, песни, любовь. Поэтому, когда началось возрождение народов, прежде всего перед ними встала задача: оправдать оклеветанную жизнь. Опровергнуть предрассудок, будто радость жизни греховна, и внушить людям веру в то, что жизнь есть благо и всякий лепесток ее прекрасен и дорог. Только такая проповедь могла вырвать опору у клерикальной тирании и лишить ее идейной почвы. И чем гуще и мрачнее был прежде гнет над жизнью и презрение к ней, тем ярче и смелее надо было теперь прославлять жизнь, рискуя даже впасть в крайность, потому что на крайности и отвечают крайностью. Это и сделал Боккаччо. Не умствуя, не приводя никаких доводов, он просто и грациозно, с самой очаровательной наглостью рассказал сто веселых сказок о веселых людях, которые живут себе поживая, хохочут во все горло, поют песни, целуются, даже до чрезмерности, и, что называется, даже в ус себе не дуют, как будто и не бывало на свете кодекса об умерщвлении плоти, а если на минуту и вспоминают об этом кодексе и его глашатаях, то поднимают и кодекс, и глашатаев на смех так заразительно, что читатель берется за бока. Лучшего средства нельзя было придумать, чтобы на место мрачной ненависти к солнцу, здоровью, веселью и хохоту выдвинуть новое мировоззрение, полное эллинской любви ко всему, что есть жизнь. Именно своей беззастенчивой и полнокровной игривостью Боккаччо из всех гуманистов нанес самый тяжелый удар престижу клерикализма, и это надо помнить. Когда при мне почтенные люди говорят о «Декамероне», я всегда злюсь. Они стараются оправдать Боккаччо, уверяют друг друга, что у него «таких» новелл вовсе не очень много и что не в них ценность «Декамерона», а в сатире на нравы духовенства... Какая чепуха! Сатира на католическое духовенство и в то время не могла бы иметь особенно оглушительного успеха, ибо кто же не знал, что патеры далеко не постники? Это было всегда общим местом. Да и с какой точки зрения мог бы именно Боккаччо обрушиться на них за эту скромную жизнь? Ведь уж он-то, наверное, не видел в ней греха! Для него, напротив, грешки патеров служили козырем и доводом в пользу веселого житья. Надо быть искренними, и одно из двух: или совсем предать Боккаччо анафеме, или признать, что именно в «таких» его новеллах весь его гражданский смысл и заслуга, и даже не в их содержании, а в тоне, в той ненависти к духу постничества и в той полнокровной любви к радостям жизни, которая звучит в каждой его шутке. В этом его ценность не только историческая, но и современная и вечная. Правда, теперь дух постничества, дух ненависти ко все-

му, что есть жизнь, не играет уже такой огромной роли, не воплощает в себе всех многообразных сторон современного гнета над человечеством; но он все-таки жив и дает себя знать и плодит немало лицемерия, лжи, неискренности и горя, сплошь и рядом отравляя нам радости жизни. Во времена Боккаччо все предрассудки, задерживавшие рост и развитие общества, основывались на этом духе постничества и им прикрывались. В наше время уже, конечно, не все, но добрая четверть из числа предрассудков, которые теперь тормозят освобождение человечества и личности, все еще растет именно из этого корня отвращения к здоровой жизни, и еще не скоро мы их истребим. Поэтому и теперь, и еще долго нужна будет книга, в которой ярко и смело выражен протест против насилия над полнотою и свободою здоровой жизни. Согласны?

Адвокат оглядел присутствующих и сказал, загибая средний палец:

– Три. Предлагаю назвать четвертую.

– Я за Шекспира, – сказал старичок с лысиной до воротничка. – Вы все напираете на то, что Гомер или Боккаччо подчеркнули одну какую-нибудь сторону: или красоту цельной непосредственной человеческой натуры, или протест во имя права на жизнь. Это хорошо, но односторонне. Я люблю Шекспира за то, что он всесторонен, как энциклопедический словарь. У него все сказано. У него есть и юноша Ромео, весь – беззаветное увлечение одной страстью, и Гамлет, неспособный отдаться ни идее, ни женщине иначе как только в полдуши. У него есть король Лир, который прошел дорогу от престола до низенького шалаша и понял, чего стоит величие властителя и подобострастие рабов. У него есть Отелло – потрясающая повесть о честной, наивной и великой душе, для которой доверие было кислородом, единственной естественной атмосферой, и когда ее вырвали из этой атмосферы и напоили угаром подозрения, она задохлась. У него есть Ричард и Фальстаф – два портрета из галереи человеческого падения, ужасного и смешного. А его женщины! Я на своем веку знал много девиц и дам, и когда вспоминаю о какой-либо из них, то всегда могу свести каждую к основному шекспировскому типу: вот Джульетта, которая была кротким ребенком и ради своей любви стала могучей, бесстрашной и самоотверженной; вот Миранда, спокойная, тихая, милая, чистая, доверчивая – одна из тех женщин, которые всю жизнь проживут, как на волшебном острове, не заметив житейской нечисти; грязному Калибану не удастся прикоснуться к ним, и они умрут такими же невинными и не ведающими зла мирского, как родились. Вот строптивая Катарина, прототип новейшей *vièrge forte*³ – от названия романа Марселя Прево «Сильные девы» (1900) – или, быть может, скорее внучка древней нимфы, вольной, гордой и пугливой лесной самки, которая бешено отбивалась от объятий самца-сатира, втайне желая его. Вот, на каждом шагу, остроумная Беатриче, которая слово за слово пикируется со своим кавалером, а кончит тем, что влюбится в него. Леди Макбет встречается реже, потому что все вообще сильное редко, но если бы нас с вами, простых

³ *vièrge forte* (франц.) – здесь: эмансипированная девственница.

смертных, допустили за высокопоставленные кулисы истории, сколько женских ручек с несмываемыми кровавыми пятнами увидели бы мы там... Говорю вам: на что ни взгляни, вспомнишь Шекспира. Даже такое новорожденное явление, как еврей-сионист или националист, было бы непонятно мне, если бы я не вспомнил странной психологии венецианского жида, который на последних ступенях отвержения сохранил суровую национальную гордость и говорит: «Мой святой народ»...

– Я тоже за Шекспира, – вмешалась барышня-курсистка, сидя на подоконнике, болтая туфельками и грызя шоколад. – Он за женское равноправие. У него в «Шейлоке» выступают адвокатами две женщины и оказываются умнее всех мужчин.

Адвокат засмеялся и объявил:

– Решено: четыре!.. Итак, остается назвать еще шесть. Прошу внести предложения.

– «Тысяча и одна ночь», – решительным тоном заявил студент.

– А мотивировка?

– Мотивировка та, что в этой книге человеческая фантазия достигает своего апогея. А так как фантазия есть одна из самых важных сторон человеческого духа, то сохранение такой книги, безусловно, необходимо, особенно теперь, когда мы переживаем полный упадок фантазий и в литературе, и в жизни.

– Ну, тут мы поспорим, – сказал адвокат. – Прежде всего, я не согласен с вами в том, будто мы переживаем теперь упадок фантазии. По-моему, совсем напротив. Ведь фантазия не есть только умение сочинять волшебные сказки. Смелые научные или философские гипотезы, новые теории, великие изобретения в области техники – ведь это все та же работа фантазии. И даже фантазии высшего качества. И всем этим наше время очень богато. А если в беллетристической литературе действительно вымирает погоня за фабулой – или, по-русски, «выдумкой» – роман с приключениями, уступая место правдивому изображению реальной жизни, то, по-моему, тем лучше. Нам и нужна правда, а не выдумка.

– Потому что вы смешиваете понятия! – горячо возразил студент. – Вы полагаете, что правда противоречит фантазии. Это, безусловно, неверно. Писать правду – значит изображать только то, что действительно бывает в жизни. Но жизнь очень разнообразна. В ней возможны самые неожиданные сочетания событий. И для того, чтобы рассказывать об этих многообразных комбинациях, необходимо, чтобы они пришли в голову рассказчику. Но в том-то и дело, что есть писатели, которым из тысячи комбинаций, вполне возможных, по меньшей мере девятьсот девяносто никогда не приходили в голову, а приходили и приходят только десять самых обыденных: родился, поступил на службу, помер... Это и значит не иметь фантазии. Фантазия не в том, чтобы придумывать ложь: фантазия в том, чтобы представлять себе жизнь во всем многообразии. От писателя не то требуется, чтобы он «выдумал» случаи, которых не бывает: требуется, чтобы он умел придумывать в большом и разнообразном количестве те случаи жизни, которые действительно бывают. Обладать фантазией – значит

охватывать своим кругозором широкое поле жизни; не иметь фантазии – значит видеть только одну узенькую полоску этого поля. А тот, чьему зрению доступна только узенькая полоска жизни, тот не может рассказать и всей правды, а только узенькую полоску правды. Писатель без фантазии всегда односторонен и никогда не правдив. Немыслимо изображать правду, не обладая «выдумкой».

– Я не вполне с вами согласен, – ответил адвокат, – но ваша точка зрения теперь мне ясна. Вы считаете, что в художественной словесности элемент фантазии необходим, а ввиду этого, как напоминание и назидание, хотите сохранить сказки Шехерезады.

– Нет, нет, – заторопился студент, – вы суживаете мою мысль. Желая сохранить сказки Шехерезады, я радею вовсе не об интересах словесности. Я имею в виду интересы жизни, общественную пользу. Я ценю и признаю литературу лишь как отражение известных экономических процессов, происходящих в обществе. И если я замечаю в литературе данного периода какой-нибудь характерный феномен, вроде упадка фантазии, это меня занимает лишь постольку, поскольку знаменует, что и в жизни, очевидно, произошли какие-то перемены, соответствующие оскудению фабулы. Сказки «Тысячи и одной ночи» дороги мне совсем не ради того влияния, которое они могут оказывать на господ писателей, а ради их влияния на самую жизнь, для напоминания и назидания общественному настроению – если только (должен оговориться) вообще признавать, что литература, будучи сама продуктом общественного настроения, способна, в свою очередь, на него же влиять...

– А нельзя ли полюбопытствовать, – спросил адвокат, – какие это явления в современной жизни соответствуют, по вашему мнению, упадку фантазии в литературе?

– А я так даже не понимаю, – вставила хозяйка дачи, – в чем это вы заметили оскудение фабулы у наших современных авторов?

– Я отвечу на оба ваши вопроса, только раньше на второй: *place aux dames*⁴. И кроме того, что *place aux dames*, этот вопрос сам по себе важен: у каких именно современных авторов я заметил оскудение фантазии. Было бы несправедливо, пожалуй, сказать, что у всех или даже у большинства: точной статистики нет, да я всех ныне пишущих, им же имя легион, и не знаю. Убыль фантазии я заметил только у нескольких – но в том-то и дело, что как раз эти несколько и состоят теперь в особенной и даже чрезвычайной моде. Наряду с ними есть и другие даровитые писатели: их любят, их ценят, но бурной и шумной моды на них нет. А как только в полном смысле слова модное имя – сейчас вы констатируете самое роковое бессилие фабулы. Это симптоматично. Это показывает, что нищета фабулы соответствует общественному настроению момента!

– Имена?

– Извольте. Начнем хотя бы с Пшибышевского. «*Homo sapiens*» вы, конечно, все читали. В романе три части, и во всех трех на первом плане стоит дерзостный и властный человек – существо, так сказать,

⁴ *place aux dames* (франц.) – сначала дамы.

могучее на подвиг и на грех, – одним словом, извините за избитое выражение, сверхчеловек да и только. Сам он себя уподобляет молнии, которая на своем пути испепеляет все: и дубы, и полевые ландыши. И я против этой характеристики ничего не имею: такие типы, несомненно, в жизни бывают – иначе откуда бы взялись Наполеон или Бисмарк? Но вот, нарисовав такого человека великой дерзости, Пшибышевский начинает его проявлять и, так сказать, продуцировать, и тут-то и начинается любопытное. Скажите, если бы вы, например, хотели показать, что герой вашего романа – искусный фехтовальщик, как бы вы это показали? Ответ ясен: вы заставили бы его биться тоже с сильными и искусными противниками один на один или даже одного против многих, и тогда было бы ясно, что он за молодец. Большая сила проявляется только на больших объектах, на трудных точках приложения. Сообразно этому раз Пшибышевский вывел на сцену человека великого дерзновения, победителя над моралью и совестью, человека-молнию, то в интересах Пшибышевского было бы проявить огромную силу своего героя в огромных же конфликтах, ввести его в столкновения с массами и стихиями, чтобы тут на фоне громадных коллизий ярко выступила вся мощь этого человека. Вместо того, что совершает Фальк на страницах романа? В первой части портит одну барышню, во второй части портит другую барышню и в третьей части портит третью барышню. Больше нечего. Где-то в конце намекается мельком на политическую деятельность Фалька, но так бледно и сухо, в таких общих чертах, что сейчас же видно: автор или не хотел показать своего героя в более крупных ситуациях, чем интрижки с барышнями, или не умел. Но предположить, что не хотел – трудно, потому что эти ситуации были бы в интересах автора, лучше обрисовали бы сильную личность героя. Значит, не умел или, по-моему, органически не мог. Потому что для изображения крупных коллизий нужна фантазия, «выдумка», так как эти коллизии на каждом шагу не валяются. Скучной фантазии модного романиста хватило только на обыденщину – на одну барышню, еще барышню и еще барышню. И на этих сереньких объектах, за неимением лучшего, заставил он Фалька проявить свою адскую дерзновенность. И вышла стрельба из пушки по воробьям...

– Ну, а еще кто?

– Да хоть русские модные писатели: Горький и Андреев.

Хозяйка всплеснула руками.

– Это Горький-то скуден фантазией? Да у кого же еще такая сила воображения?

– И не спорю. Воображение – да. Но прошу не смешивать воображения с фантазией. Большая разница. Воображение – это способность представить себе ярко и живо один отдельный образ или момент. Фантазия – это способность придумать много разных образов и моментов и сочетать их в связную и сложную комбинацию. Воображение и фантазия – это статистика и динамика. Воображение – это фотографическая карточка, фантазия – кинематограф. Воображения у Горького хоть отбавляй. Фантазии – ни тени. Лучшее, что дал Горький – это наброски, статистические снимки одного момента. Попро-

буйте рассказать фабулу любого из его рассказов: не удастся. Фабулы почти нет. Комбинации событий всегда самые серые, самые скучные – и это несмотря на то, что жизнь босяка полна неожиданностей и необычайностей. А вся мощь и красочность таланта Горького уходит на обрисовку типа и отчасти обстановки: море смеялось, Мальва говорила то-то и то-то – а динамики, движения, действия никакого. И эта органическая неспособность связывать отдельные моменты в сложную фабулу окончательно подтвердилась тогда, когда Горький перешел к роману и особенно к драме. Я не намерен теперь обсуждать, удачны или нет обе пьесы Горького⁵. В скобках даже скажу, что я их очень высоко ценю; но в то же время они ясно и неопровержимо доказали одно: что Горький так же беден фантазией, как до роскоши богат воображением, красками, силами чувства и ума. И чуя эту свою органическую неспособность заполнять картину вширь, он в драмах все норовит уйти вглубь: он углубляет пуше художественной меры обрисовку типов, настроений, обстановки, в ущерб движению и действию... А Андреев...

– Ну, уж об Андрееве «не скажите», – усмехнулся адвокат. – Тут фантазии даже как будто слишком. Фабула «Фивейского» – самая пестрая, да и в «Бездне» далеко не обыденный случай рассказан.

– Вот, вот именно! – подхватил студент. – Это-то и особенно важно. Я тоже думаю, что Андреев органически вовсе не лишен фантазии. Но он ее как бы гнушается. Он ее почти не пускает в ход. Он избегает широких, многофигурных, полных движения полотен и концентрирует все внимание на отдельных точках и пятнышках, но за то уж эти точки расковыривает, так сказать, до самого дна и еще глубже. В журнале «Весы» я прочел недавно меткое выражение – не помню чье, Брюсова или Белого: «От любой мелочи можно просверлить отверстие в Вечность», – или в таком роде. Это и есть формула «творчества не вширь, а вглубь»: остановиться на мелочи, всмотреться в нее и пробуровать дырочку в самую Вечность, в самую бездну основных вопросов и противоречий природы человеческой. Может быть, тем и объяснима та любопытная странность, что русская литература забросила роман и почти целиком ушла в коротенькие рассказы: ведь роман без фабулы, как никак, а выйдет скучноват. Литература явно избегает фабулы. Избегает даже там, где автор, как Андреев, сам по себе и не беден фантазией; избегает даже там, где этой фабулы не надо придумывать, где она уже готова – например, в повестях из босяцкого быта, который так хорошо известен Горькому и так полон необычайностей и неожиданностей. И ничем этого не объяснить, как только духом времени, настроением эпохи, которые, по-видимому, не благоприятствуют полету фантазии даже там, где фантазия имеется – противятся постройке сложной фабулы даже тогда, когда эта фабула сама собою напрашивается. И как последнее, самое яркое подтверждение, я сошлюсь на другого модного писателя – модного, положим, больше за границей, чем в России – на Д'Аннунцио. Более ярко представителя «убыли фантазии» нельзя и представить. В этом

⁵ Речь идет о пьесах Максима Горького «Мещане» и «На дне».

отношении даже Пшибышевский сильнее. Бессилие «выдумки» в романах и драмах Д'Аннунцио доходит до поражающих размеров. И вдруг я узнаю, что Д'Аннунцио написал поэму о Гарибальди. Жизнь Гарибальди сама по себе волшебная сказка: тут не надо «выдумки» – фабула готова, и богатейшая. «Интересно, что выйдет у Д'Аннунцио», – подумал я и выписал себе «Ночь на Капрере». Оказывается, Д'Аннунцио отбросил прочь весь фабулярный элемент многобурной жизни своего героя и посвятил поэму тысячи в две стихов изображению совершенно статического момента: сидит Гарибальди ночью на своем острове, переживает какие-то настроения и думает какие-то думы. Это уже совсем похоже на симптом какой-то болезни, на какое-то органическое отвращение к фабуле, т. е. к изображению жизни многообразной и сложной, богатой комбинациями, – даже там, повторяю, где ничего придумывать не надо, где фабула уже готова...

– Хорошо-с, – сказал адвокат. – Но, возвращаясь к нашей теме – какую же роль в исправлении этой беды могут сыграть сказки Шехерезады?

– Никакой. Исправят беду не сказки Шехерезады, а сложные социальные процессы; но сказки Шехерезады будут в этом отношении полезным напоминанием и назиданием. Я говорю: раз у самых модных писателей наблюдается убыль фантазии в изображении жизни – следовательно, жизнь вокруг них действительно перестала давать пищу фантазии, обесцветилась, стала монотонна и однообразна. И она еще долго будет однообразна и монотонна, пока не обновится этот экономический строй, сваливающий на плечи каждой отдельной личности громадную тяжесть вопроса о личном и семейном пропитании и под этой тяжестью нивелирующий всех и вся, дрессируя нашу психику и сосредоточивая насильственно все наши помыслы и настроения вокруг одного всеобщего центра – погони за хлебом. Во времена сословно-цехового строя эта тяжесть еще лежала отчасти на коллективных плечах сословия или цеха, но теперь она обрушилась на каждого человека в отдельности и для всех непреодолимо стала главной и преобладающей заботой жизни, так что природное разнообразие типов и индивидуальностей все стерлось и сравнилось в этом общем основном и всеобъемлющем настроении погони за хлебом. Из однообразия настроений только и могла получиться однообразная и монотонная жизнь – жизнь без фабулы. Я потому и стою за сказки Шехерезады, что вижу в них яркую, прекрасную противоположность этой нашей жизни. Увлечься ими – значит протестовать против нашего уродливого общественного устройства, потому что в них все – фабула жизни, тысячи неожиданных комбинаций и сцеплений, приключения, необычайности, кипучее многообразие жизненных проявлений, даже ложь и суеверие, но я это прощаю, потому что и это ярко, и это непохоже на наше бесцветное существование! Человечеству надо помнить, что жизнь должна быть богата и многообразна и что наступит день, когда тяжесть вопроса о хлебе окончательно переляжет с плеч отдельной личности на плечи всего общества, и освобожденная личность снова заживет полной, всесторонней и разнообразной жизнью – жизнью с богатой фабулой, с беспредельным пространством для фантазии. Я охрип... и кончил.

– Кто за «Тысяча и одну ночь», кто против? – спросил адвокат.

– Советую всем согласиться, – предложила хозяйка, – а то этот марксенок опять заладит новую лекцию на два часа. Вообще, предлагаю после этой речи отдохнуть и подкрепиться.

– Итак, пять, – сказал адвокат, и мы пошли на дачу подкрепляться.

Но оказалось, что и за ужином разговор продолжался на ту же тему – о десяти книгах. Одна из дам, более или менее пожилая, хлопотала за Байрона, против которого горячо восставал еще охрипший студент.

– Нам не нужно разочарованности! – восклицал он с набитым ртом. – И без того нытиков на свете довольно. Ни за что не допущу Байрона.

– У вас ходячее представление о Байроне, – возражала дама, – или скажу резче: ученическое представление. В учебнике сказано, что герои Байрона разочарованы, и вы так и затвердили: раз Байрон, значит разочарованность. Простите, но это мне напоминает представление французов о русском *le bagine*: сидит под сенью развесистой клюквы и закусывает самоварами, густо смазанными зернистой икрой. И так как эта картина русского блаженства могла возникнуть только у такого француза, который знал Россию лишь понаслышке, да и то плохо, то у меня является нескромный вопрос: да вы Байрона читали?

– Мм... – неопределенно выразился студент; впрочем, он в эту минуту жевал.

– Вот то-то и «мм». Да не вы одни, а вообще, я думаю, мало кто теперь читал Байрона. А между тем, ведь именно теперь и читать-то его. Не знаю эпохи, когда бы он больше мог прийти ко двору, чем нынче. Мы зачитываемся Горьким; можно сказать, что целое поколение уже воспиталось на Горьком и прониклось его основным мотивом. А этот основной мотив – протест сильной личности против склада жизни, удобного и пригодного только для мелких людишек. Но ведь это и есть основной тон Байрона. Разочарованность, которую вы затвердили из учебника, есть только второстепенная подробность, а суть байронизма в этом самом протесте сильной личности, которой тесно в быту, созданном по плечу мещан и ужей. Манфред, Лара, Корсар, Сарданапал, Чайльд-Гарольд, Дон-Жуан, Каин – все его герои, словом, – это те же типы Горького, даже в том же освещении, только из другого общественного слоя. Все они также тяготеют к мещанству жизни, ее мелочности и лицемерию, также уходят прочь из общества – бродяжить и скитаться. Те же босяки, только поэтичнее в одежде и речах. Так сказать, босяки в стихах и под музыку. Понимаете? Вы только что отстаивали «Тысячу и одну ночь», потому что никогда снова, по-вашему, жизнь наша не станет богата фабулой и фантазией и человек не будет развиваться полно, сильно, всесторонне. Я с вами вполне согласна. Но ведь разочарование героев Байрона, их бегство из мещанского быта и есть эта сама жажда фабулы в жизни, прорыв к фантазии в жизни! Наше время, что бы там ни говорили, есть время индивидуализма: все мы влюблены в мечты о сильной и властной личности, ждем не дождемся ее прихода на историческую сцену и даже ради того и мечтаем о более справедливом уст-

ройстве бытовых отношений, чтобы на той новой почве каждая человеческая единица могла развиваться в сильную личность. Но в таком случае Байрон должен быть настольной книгой у каждого из нас. Это корень индивидуализма. Когда мы говорили тут о Гомере, было высказано, что при сохранении «Илиады» и «Одиссеи» нам не нужен ни Руссо, ни Толстой. Я с еще большим правом могу сказать: сохраним Байрона, и мы тогда можем обойтись и без Ницше, и без Максима Горького...

– Позвольте! – воспротивился студент. – Отчего же не наоборот? Я готов признать, что в числе десяти книг было бы важно сохранить и кого-нибудь из апостолов сильной личности, но в таком случае я за Горького. Сами же вы говорите, что тон у обоих один и тот же, одни и те же типы, только у Байрона они носят на себе классовый отпечаток господствующих слоев общества, а у Горького они демократичны. Оттого и надо предпочесть Горького. Его протест против мещанства глубже, потому что он показал семена этого протеста уже не только в среде вырождающихся потомков феодальной аристократии, но и на самом дне огромных народных масс, тех именно масс, которым принадлежит будущее.

– Видите ли, – ответила дама, – это вопрос очень трудный. Прежде надо решить, допустимо ли вообще состязание между Байроном и Горьким, не слишком ли это разные величины. Я лично полагаю, что никакого состязания между ними быть не может. Я нахожу, что в Манфреде и Каине Байрон проник до таких бездонностей человеческого отчаяния, в которые ни Гете, ни Шопенгауэр не заглядывали; поэтому для меня Байрон стоит на недостижимой высоте и не подлечит конкуренции. Но вы мне скажете, что нам тут нужны не бездонности отчаяния, а гимн сильной личности, а в этом отношении действительно нельзя не считать с большей демократичностью Горького. Однако я вам на это вот что отвечу: я человек уже старый и очень осторожный. Я вообще предпочитаю подождать, переждать два-три поколения, прежде чем окончательно установить за данным писателем ту или другую художественную оценку. Заметьте: только художественную. Общественное значение писателя выясняется, по-моему, гораздо раньше художественного, потому что общественное влияние писателя есть факт, осязаемый факт. Что касается, в частности, до Горького, например, то его общественное значение выяснилось уже теперь, и это значение, без спора, громадно. Повторяю, что на нем за эти семь-восемь лет успело перевоспитаться целое поколение, и не просто как-нибудь перевоспитаться, а именно к лучшему, к силе, бодрости, смелости и энергии. Это, мне кажется, понимают уже все толковые люди в России. Но относительно чисто художественной оценки Горького, оценки его таланта и его права на вечную память во храме всемирной словесности – в этом вопросе не только не замечается единомыслия, но и отдельные люди, например, я, далеко еще не выработали себе окончательного взгляда. Что талант есть, это мы все знаем, а какого ранга и чина – этого никто не знает. Тем более что тут ослепляет беспримерная, подавляюще огромная общественная роль, сыгранная этим писателем, и не дает трезво и холодно всмотреться в

самое зерно его таланта, очищенное, беспримесное, и определить без ошибки, что за сорт – первый или второй. Кто знает: может быть, пройдет лет двадцать, и яркая красочность, которой мы восторгаемся, потускнеет, и останется просто среднего качества беллетристика? Или, наоборот, только тогда, через двадцать лет, и обнаружится в полной мере вся художественная прочность и ценность этого своеобразного дарования? Во всяком случае, я предлагаю не одного Горького, а всех вообще сегодняшних и (особенно) здравствующих писателей из конкурса устранить, согласно умному правилу: о присутствующих не говорят...

Студент не возражал. Адвокат оглядел собеседников и спросил:

– Итак, Байрон? Итого шесть.

– Я все время молчу, – сказала хозяйка, – так что теперь считаю себя вправе предложить сразу две книги: во-первых, Мюссе, во-вторых, «Путешествие Гулливера».

– Вот тебе и на! – сказала несколько голосов.

– Странный выбор! – кольнул студент, утираясь салфеткой. – Что Мюссе, это я понимаю: дамский вкус сказался. Но Свифт? С какой стати? Мы ведь тут не библиотеку для детей составляем...

Адвокат стукнул ложечкой о стакан:

– Порядок, порядок, господа. Слово принадлежит государыне дома сего для мотивировки.

Хозяйка сказала:

– Мотивировка у меня самая простая. Мы тут, я заметила, выбираем книги так, чтобы в этой библиотеке из десяти названий было представлено отражение всех, по возможности, главных мотивов человеческого творчества, и при этом непременно в самых ярких и типичных образцах. Но у нас до сих пор не назван ни один поэт любви; я и предлагаю Мюссе как поэта любви *par excellence*⁶. А Свифта беру как представителя сатиры. Я знаю, что многие считают сатиру не то низким, не то совсем даже ложным родом искусства. Я в этих тонкостях не судья, знаю одно: сатиры писались и пишутся испокон веков по наши дни, и, следовательно, этот вид художественного творчества тоже соответствует какой-то вечной и важной потребности человеческого духа. А потому я думаю, что обойтись без сатирика значило бы оставить большой и вредный пробел. Что же касается до Свифта лично, то, по-моему, хотя наш студизм и читал его еще в детстве (это, впрочем, было не так давно), а «Гулливер» все-таки очень полезная книга для взрослых – хотя бы потому, что там рассказано, на какие чудеса способен народ карликов, если ему даны от небесных властей любовь к родному углу и от земной власти разумное государственное устройство. Очень полезный вообще урок.

Студент не сдавался:

– Мюссе? Отчего же не Анакреон? Отчего не «Дафнис и Хлоя»? «Дафнис и Хлоя» – это совсем уже «современно», потому что Хлоя – самая настоящая *demi-vierge*⁷ четвертого столетия...

⁶ *par excellence* (франц.) – преимущественно, в полном смысле слова.

⁷ *demi-vierge* (франц.) – полудевственница.

– Да и в области сатиры, – сказал тот, который предложил Гомера, – есть Ювенал, Аристофан, наконец, Щедрин...

Хозяйка растерянно развела руками.

– Ах, господа, – сказала она, – я знала, что вы меня забросаете мудреными именами. Я не читала ни Анакреона, ни «Дафниса и Хлои», ни Ювенала; Аристофана пробовала читать и взяла «Облака», но мне на второй странице надоело; Щедрина я очень люблю, но его никто, кроме русских, не может ни ценить, ни даже понимать. А Свифт понятен всем – это ясно уже из того, что его столько лет читают с неослабевающим интересом...

– Виноват, как же это Щедрин никому, кроме русских, непонятен? – спросил защитник Гомера. – А Иудушка Головлев? Самый международный тип!

– Да, еще бы, – отбивалась хозяйка, – потому и международный, что он и списан-то с Тартюфа.

– Кстати! – вскричал еще кто-то. – Уж если искать сатирика, то как же это мы забыли о Мольере?

– А Гоголь? – торжествовал студент, любуясь разгромом своей обидчицы.

Адвокат опять постучал ложечкой и сказал:

– Господа, прошу слова. Я хочу предложить вам одно имя, которое, быть может, примирит всех. Я вполне согласен с нашей милою хозяйкой, что и любовь, и сатира имеют полное право на представительство в нашей библиотеке десяти. Поэтому я напоминаю вам о поэте, который сочетал в своей душе, с одной стороны, всю нежность и тонкость Мюссе и все дерзкое беззаботное эпикурейство Анакреона, а с другой стороны, – соленое остроумие Аристофана, гражданско-критическую вдумчивость Свифта, желчный гнев Щедрина, скорбную улыбку Гоголя и изящно гаменскую⁸ насмешливость Мольера. Одним словом, предлагаю вам избрать седьмым Генриха Гейне.

– Просим, просим, – радостно зашумел студент, – браво, именно Гейне. Это я понимаю! Это уж не то, что дамский вкус...

Гейне был принят. Пришло новое лицо – барышня извилистого вида, с волосами, начесанными на уши. Мы рассказали ей предмет спора. Она подняла руку, полузакрыла глаза и сказала:

– Если есть еще место, впишите Эдгара По. Это родоначальник декадентов.

– Как бы не так, – ответил студент. – Надо еще доказать, что декадентство имеет право на вечное сохранение, что в нем есть положительная идейная ценность, которая пригодилась бы последующим поколениям. Это во-первых, а во-вторых, нужно доказать, что Эдгар По декадент. Я сам поклонник По, и именно потому буду отрицать всякую связь его с декадентами. В нем совершенно нет их туману и шатания мыслей. Он, напротив, удивительно ясный, определительный, отчетливый писатель. Даже в таких произведениях, где неясность, полутонность нужна, эта неясность у него чувствуется только в настроении, в стиле, в фоне, а слова зато всегда совершенно понят-

⁸ От франц. *gamín* – уличный мальчишка; проказник.

ны и не приходится ломать себе голову над каждой строкою, точно она из Апокалипсиса. Да лучший свидетель тому – сам По. Вспомните, что он говорит о своих приемах творчества в статье «Philosophy of Composition». Не знаю, переведена ли она; во всяком случае, подробно ее не помню, но смысл таков: есть, мол, у меня поэма «Ворон», и ее люди хвалят и, вероятно, полагают, что она создана в угаре безотчетного вдохновения. А на самом деле никакого угара не было, и составил я свою поэму по самому строгому плану и расчету. Именно ощутил я в себе расположение написать вещь, посвященную настроению скорби, и рассудил так. Чтобы вещь производила цельное впечатление сразу – она должна быть не особенно велика: строк сто, не больше. Затем, впечатление будет особенно сильно, если эта скорбь будет красива. И я стал придумывать момент, в котором скорбь сочеталась бы с красотой, и нашел, что самый подходящий момент такого рода будет смерть молодого, прекрасного, любимого существа. А еще красивее будет изобразить эту смерть не наяву, а в воспоминании покинутого друга, потому что воспоминание всегда изящнее и прекраснее реального события. А для таких воспоминаний самая подходящая обстановка – ночь, особенно бурная полночь, когда за окном воет выюга. Так и сложился у меня остов поэмы: зимняя полночь – покинутый друг вспоминает об умершей подруге... Установив, таким образом, основу содержания, я задумался о форме и пришел к убеждению, что для силы впечатления очень полезно ввести рефрен – какое-нибудь многозначительное выражение, которое повторялось бы в разных местах поэмы и усиливало бы в читателях основное настроение. Но для того чтобы рефрен этот не звучал искусственной выдумкой автора, необходимо повторять его не от себя, а вложить в уста живому существу, одному из действующих лиц поэмы. Что же это будет за живое существо? Человек? Неудобно: разумный человек не станет повторять одного и того же выражения, точно попугай. Тогда, может быть, попугай? Тоже неудобно: птица пестрая и веселая, для скорбной поэмы не годится. Тогда я вспомнил, что многие утверждают, будто можно обучить человеческому языку ворону – птицу черную, зловещую и в данном случае подходящую. Осталось одно: выбрать рефрен. Рефрен должен удовлетворять трем условиям: краткость, многозначительность, звучность. Для краткости я решил взять рефрен из одного слова. Для звучности остановился на гласной *o*, как самой звучной и торжественной из гласных, и на согласной *r*, которая легко поддается удваиванию и издавна считалась одним из самых сильных звуков человеческой речи. Из сочетания обеих получился слог *or*, а тут уже я легко набрел на слово «nevermore» (никогда), краткое, звучное и многозначительное...

– Все врёт ваш Эдгар По, – даже рассердилась хозяйка, махнув рукою, – он, поверьте, раньше написал «Ворона», а потом все это придумал.

– Возможно, – сказал студент. – Но и тогда ясно, что По не был ни мало склонен к туманным экстазам, путаности и непроходимости декадентов, а наоборот – любил даже рисоваться обдуманностью и ясностью своих концепций и форм...

Извилистая барышня сказала презрительно:

– Я философствовать не умею, а просто чувствую, что По родной декадентам, и с меня довольно...

– Видите ли, – мягко вмешался старый господин, – я позволю себе взять слово для выяснения этих разногласий. Я тоже нахожу, что По – родоначальник декадентов, и при этом вовсе не отрицаю всяческой ясности и отчетливости его манеры творчества. Но я полагаю, что сбивчивость и путаность тона совсем не так характерна для декадентства. Это – внешнее, почти случайное. Что типично для декадентства – это самый декаданс, психология «упадка», т. е. особенная аномальная утонченность, переходящая в извращенность. Она возникает в культурном человеке, когда он, залпом наглотавшись разнообразнейших впечатлений, но ни одному не отдавшись всецело, ни одного, так сказать, не переварив, оказывается в очень странном и совершенно нелогическом положении: уже пресыщен, но все еще не удовлетворен. Состояние курьезное, потому что обыкновенно ведь пресыщение может наступить только после удовлетворения – но, как бы то ни было, это состояние переживается многими культурными единицами нашего жадного и неуравновешенного времени и еще долго и долго будет переживаться. Отличительная черта этого состояния – тяготение к ненормальностям, уродливостям, абберациям человеческой психики. Это тяготение, действительно, явно проступает у Эдгара По. У него есть целый ряд рассказов, посвященных таким ненормальностям психики – почти мономаниям. Герои новелл «Береника», «Сердце-обличитель», «Черная кошка», «Человек толпы», «Гибель Эшерова дома» и многих других в одном всегда похожи друг на друга: их впечатлительность уродливо односторонняя, до чрезмерной всепоглощающей развиты в одном каком-нибудь направлении. У одного – гиперболлизм «внимания», у другого – зрительный или слуховой восприимчивости, у третьего – ощущение страха и так далее. Одним словом, та самая неуравновешенность современного человека, о которой мы здесь все время говорили, против которой мы выставили Гомера как певца здоровой личности – она в Эдгаре По нашла одного из первых своих портретистов. Конечно, быть портретистом извращенной личности декаданта еще не значит быть декадентом. Декадентом в истинном смысле я назову только того писателя, который сам обслуживает извращенные вкусы личности декаданта. Этого у По нет – но к этому пришли его последователи. Это, конечно, тоже специальная функция, в данный момент неизбежная и потому даже полезная, но все-таки я думаю, что в наш сборник десяти, составляемый в целях наилучшего воспитания человечества к здоровой и разумной жизни, вряд ли уместно включать произведения, рассчитанные на нездоровый и неразумный вкус извращенного поколения. Совершенно другое дело – портретная галерея этого поколения. Она, по-моему, прямо необходима. Если мы включили Гомера как полюс нормальности, то надо включить и другой полюс, отрицательный, антинормальный, чтобы иметь перед глазами в картинном изображении весь путь человеческой души. Но не Эдгара По я считаю типическим оразителем этого другого полюса. У По даны только намеки, наброски. Я

предлагаю другого писателя, который действительно дал полную обширную галерею болезней извращенного духа, и из этой галереи людские поколения вечно будут черпать материалы для психологии неуравновешенной личности, для диагноза и этиологии ее недугов и для лечения. Это – Достоевский. Для меня лично в его произведениях таится глубокий социальный смысл, большая правда о русских общественных отношениях и большая любовь к России; но я считаюсь с тем, что эта сторона имеет интерес вечности, может быть, только для русских, и не вношу ее в мотивировку. Устраняю, чтобы не вызывать споров, даже такой законный довод, как ссылка на философскую глубину Достоевского – хотя лично я присоветовал бы всякому в качестве лучшего пособия к изучению всемирной истории главу о великом инквизиторе. Массовых движений она не уяснит, но всюду, где на арену истории выступает активная личность – будь это великий завоеватель Тамерлан или крупный временщик начала XX столетия, – там перед вами иллюстрация к этому изумительному отрывку из галлюцинаций Ивана Карамазова. За последним примером недалеко ходить: только недавно в одной из стран Европы сошел со сцены крупный и интересный деятель, ярко индивидуальная система которого колебалась на неуловимой границе между политической романтикой и политическим авантюризмом и из уст которого достоверные люди слышали фразу: «Я сначала укрошу свою страну, подавлю в ней всякое дыхание строптивой жизни, а потом дам ей счастье, о котором она и не мечтала». Да ведь это он, герой Карамазовской «поэмки»! Но, повторяю, чтобы не вызывать споров, я и философию Достоевского оставляю в стороне и мотивирую свое предложение одним только доводом: Достоевский оставил огромную портретную галерею нервного поколения, искверканного неизбежной односторонностью капиталистического общественного строя. Эта односторонность сохранится до дней полной гармонии, т. е. очень и очень долго; следовательно, то, что дал Достоевский, отражает основные черты далеко не одного XIX века, и еще поздние наши потомки будут узнавать себя в его героях...

Извилистая барышня нашла, что Достоевский скучноват; впрочем, она спорить не стала, и Достоевский был избран восьмым.

Девятого предложила молодая дама – та самая, которая провела «Декамерон».

– В выборе книг, – сказала она, – мы руководимся одной (как выражаются господа адвокаты) презумпцией: что идеи, заключенные в книгах, способны влиять на волю человечества и направлять ее на добро. И это действительно так: у человека – у животного *homo sapiens* – есть потребность служить отечественной идее, создать себе живого бога и во имя его подвижничать. На эту потребность и опирается всякая проповедь; и когда мы составляем свой каталог десяти книг, мы, собственно, составляем воспитательную библиотеку для этой потребности, потому что на ней одной зиждется все идейное значение литературы. Но в таком случае необходимо дать место и такому произведению, которое представляло бы саму (терпеть не могу говорить «само») – саму эту потребность, воспевало бы способность человека быть рыцарем и подвижником во имя идеи. Остальные девять книг

научат его избрать для своего подвижничества разумную и полезную идею; но именно потому хоть одна книга пусть напоминает ему, что человеку необходима такая идея. В мировой литературе есть произведение, где рассказана жизнь одного настоящего рыцаря идеи, сказано о его героизме, о его самопожертвованиях, о его ошибках и том хохоте, которым отвечал весь мир на его подвиг, а он все-таки не сдался и был рыцарем до смертного часа. Вы понимаете, конечно, я говорю о Сервантесе.

– Уд-дивительно! – сказал студент, – дамы все детские книги выбирают. Хозяйка – «Гулливера», вы – «Дон Кихота»... Делать нечего, пусть...

Остальные кивнули головами. Адвокат сказал не без торжественности:

– Девять! Господа, осталось одно свободное место. Прошу теперь об особенной вдумчивости и осторожности.

– Н-да, – вставил студент. – Дело щекотливое: тьма кандидатов и одна вакансия... Придется резать без пощады.

– Господа, – сказал адвокат, – я сижу, слушаю и удивляюсь, что у нас до сих пор не названо одно имя, с которого, собственно, и следовало начать – Гете.

– Режу и проваливаю, – решительно заявил студент. – Я утверждаю самым положительным образом, при полном уважении к гениальным способностям экзаменуемого литератора, что ни моему сердцу, ни уму никогда от него не было ни шерсти, ни молока, – и смею думать, что многие здесь ко мне присоединятся.

– Ну, уж это, ах, оставьте, – возразил адвокат. – Когда тут говорили о Достоевском, мне хотелось вмешаться и сказать, что нужен не Достоевский, а Гете. Если Гомера признать за один полюс первобытной, цельной, здоровой личности, то другим полюсом будет непременно Фауст. За огромный промежуток времени, отделяющий Гомера от Гете, человеческая личность совершила громадный путь, дошла до громадных высот, и вот она в Фаусте как раз и стоит на недосягаемых вершинах культурного развития, где уже все изведено, испытано, пережито. У Гомера вещая мудрость дикаря, у Гете мудрость жреца, прочитавшего все тайны, какие только написаны в звездах. У Гомера детство человечества, у Гете его полная зрелость. Если мы включим в наш список для вечного сохранения один этап, мы должны включить и другой...

– Режу и проваливаю, – повторил студент. – Прежде всего, в таком случае надо поднять вопрос об исключении Достоевского и замене его Гете. А против этого я буду восставать зубами и когтями. Размеров таланта я, конечно, не сравниваю: это было бы смешно. Но ведь мы выбираем не по таланту, а по полезности. Как же не признать, что в качестве антипода Гомеру Достоевский гораздо полезнее Гете? Фауст, прежде всего, не реальная фигура, а символ, некое отвлеченное «томление духа» в воплощении и на двух ногах: ни нервов, ни социальной обстановки, один томящийся дух. Да и вся поэма чисто отвлеченная, больше для комментариев и догадок, чем для настоящего впечатлительного чтения. Достоевский – совсем другое: у

него настоящие живые люди, плоть и кровь, и эти люди в самом деле представляют нервное поколение, исковерканное капиталистической культурой и вообще условиями капиталистического быта. Какое же тут сравнение с Фаустом? Я безусловно против Гете. А лучше – в угоду нашим дамам, поклонницам детской литературы, – предложу вам со своей стороны хорошую книгу, которая, право, достойна числиться в списке десяти – «Робинзона». В ней рассказано, как возрождается человек от трудового соприкосновения с природой. Великолепный pendant⁹ к Гомеру, имя которого так нещадно склонялось в наших спорах.

Начался беспорядок. Назвали Данте, Шелли, Вольтера, Толстого, Шиллера, русские былины; между барышней с волосами на ушах и студентом поднялся такой горячий спор, что хозяйка дачи предложила им в качестве десятой книги «Хороший тон» Гоппе.

Адвокат попросил внимания и сказал:

– Я сохраняю целиком свое мнение о Гете, но хочу тем не менее внести новое предложение. А именно: оставить вопрос о десятой книге открытым. Пусть его за нас решат другие. Среди нас есть один журналист. Попросим его рассказать о нашей беседе в печати, а вопрос о десятой книге предложить самим читателям. Пусть они выберут и сообщат ему в письмах свой выбор с мотивировкой, и тогда мы увидим, за кого большинство и кому, следовательно, принадлежит по праву десятое место в нашей библиотеке рядом с Библией, Гомером, Шекспиром, «Декамероном», сказками Шехерезады, Байроном, Гейне, Сервантесом и Достоевским.

– А не боитесь ли вы, – спросил журналист, – что читатели начнут недоумевать: для чего нам преподносят все эти разговоры о старых книгах? Кому это интересно? То, что очень интересно в милой компании на даче, может показаться скучно в знате.

– Не думаю, – ответил адвокат. – Я хорошо знаю среднего читателя и ручаюсь вам за то, что много ли, мало ли он читает, равнодушно ли или с увлечением – он никогда не задается вопросом, что именно хорошо в книгах, обязательно украшающих любой книжный шкаф, что именно внесли они в сокровищницу духа и за что им такая честь всеобщего признания. А мы здесь об этом как раз и говорили. Авторы, которых мы разбирали – все старые знакомые и «вечные спутники», по выражению Мережковского: род за родом будут их читать, будут с детства роднить свое сознание с их именами. Это вечный багаж культурного человечества, и от времени до времени каждому из нас не мешает распаковать чемодан, разобрать, разложить, перевернуть и проветрить его, чтобы складки не слежались и моль не проела. А теперь объявляю заседание закрытым.

Я исполнил поручение. Думаю даже, что так лучше: пусть десятую книгу каждый выберет сам для себя – если, конечно, согласен с адвокатом во взгляде на тему этой длинной беседы. Если же не согласен, бью ему челом, извиняюсь, что, быть может, наскучил, и прошу не поминать лихом.

⁹ pendant (франц.) – соответствие, пара.